

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Странник	7
Глава 2. Тяга Земли	19
Глава 3. Белая лошадь	29
Глава 4. Появление Мирьям.....	49
Глава 5. На пароме.....	62
Глава 6. Истории.....	76
Глава 7. Земля	88
Глава 8. Алфавит.....	100
Глава 9. Мирьям и город.....	108
Глава 10. Львиные ворота	126
Глава 11. Компания	139
Глава 12. Дорога и ферма.....	150
Глава 13. Монастырь	168
Глава 14. «Тайное Евангелие от Марка»	175
Глава 15. Что видно из пещеры	180

Глава 16. Оптика пустыни	189
Глава 17. Гости.....	195
Глава 18. Фридман и монах	221
Глава 19. Иосиф.....	233
Глава 20. Голубая верблюдица.....	261
Глава 21. Свиток.....	273
Глава 22. Улица Исландия.....	282
Стихи к роману	289

ПОСВЯЩАЕТСЯ АЛЁНЕ РОМАНОВОЙ

Глава 1

Странник

Мой первый алхимический опыт был основан на рецепте теста на опаре из «Книги о вкусной и здоровой пище». Вместо дрожжей я использовал чайную заварку, в кастрюлю сложил понемногу все имевшиеся в доме продукты, начиная с крахмала и продолжая уксусной эссенцией. Мне было двенадцать лет, и бабушка Сима, у которой я в то время жил, уже не знала, что ей делать с моей страстью к опытам. Было это мне на руку, поскольку она не смела задерживаться на работе. Но вскоре я нашёл себе занятие почище кулинарии и менее затратное — в моём распоряжении оказались «Малая история искусств», «Дон Кихот» и том ободранной «Детской энциклопедии», начинавшийся с буквы С статьёй «Скорпион». Нынче я по-прежнему ценю бессмысленные сведения и знаю, что бедуины по всей пустыне, на краю которой я теперь живу, ищут чёрных скорпионов, чтобы высушить, смолоть в порошок и, смешав

его с табаком, выкурить эту ядовитую пыль. Теперь я знаю, как крем попадает в трубочку эклера, теперь мне не придёт в голову, как тогда, облачиться в тогу, свёрнутую из простыни, и, взяв в руки веник и крышку от кастрюли, перед зеркалом изображать Персея с головой горгоны Медузы. Как же меня очаровывали крылатые сандалии, с помощью которых можно было летать и спасти Андромеду. Теперь я живу неподалёку от тех скал, что были жертвенником Левиафана, теперь мне Дон Кихот не кажется чудачком. А тогда кастрюльку с «опарой» я спрятал под кровать, где, был уверен, живут гномы, и они уж точно поработают хорошенько над закваской. И достал из серванта, где хранились бедные семейные реликвии, прадедовы часы. Карманные, с цепочкой, они не ходили, но я воображал, что с их помощью можно путешествовать во времени на небольшие расстояния, особенно в пасмурную погоду, когда незаметно склонение солнца. Часы эти были настоящей машиной времени, потому что было достаточно прокрутить минутную стрелку на пять, десять минут, как я слышал звук поворачиваемого английского замка. О, этот мягкий треск вставляемой ключной бороздки, возвещавший приход бабушки. Я и сейчас слышу его, но где-то далеко, там, где от поворота ключа становится щекотно сердцу...

С детства я был близорук, очки сначала не носил вовсе или носил для особого случая, например для похода в кино, вот почему мне всегда были интересны задние планы картин, детальность которых утверждала прозрение, торжество истинности над размытостью, туманом недосказанности, отгадки над тайной. Поиски провидения с помощью искусства после вызывали во мне тихое ликование, а Тиресий, лишённый зрения в обмен на дар пророчества, напоминал художника, который щурится при взгляде на горизонт и уверенными мазками выписывает не только покрытые толщей рассеянного света сады, но и в их глубине — собачку, тянущую с пикниковой скатерки окорок. На картинах

меня увлекал задний план больше, чем передний, вероятно потому, что детали вообще обладают сокровенностью, выпестованной вниманием и воображением.

По ходу дела я изобретал свои подручные способы улучшить зрение, все они сводились к тому, чтобы смотреть сквозь суженное поле зрения, например вприщур или через дырочку в сжатом кулаке. Несложный оптический эффект камеры-обскуры вычитал пару диоптрий из искривлённого хрусталика, и буквы, написанные на школьной доске, становились чётче. Подслеповатость моя, добавлявшая неуверенности в преодолении пространства, приумножала увлечённость, с которой я этим занимался. Всегда было интересно стремиться в даль, чтобы превратить её в близость, например войти в видневшуюся у горизонта облачком дымчатой зелени рощу, дойти до одиноко растущего на холме деревца, пересечь поле, достичь стогов и стаи перелетающих пашню грачей или спуститься зимой с клюшкой наперевес и коньками на шее в засыпанный снегом по макушки осинника затопленный карьер, где на самом доньшке расчищен пятачок зеленоватого льда, на котором мальчишки рубятся в хоккей. Даль с помощью пытливости и любопытства преодолевалась когда-то и библейским Енохом, для которого попадание на небеса, где архангел Метатрон показал ему многие тайны мироздания, стало выражением пристальности, телескопической приближённости, попаданием в метафизический задник: Енох первым из смертных узнал, что звёзды не точки на небосклоне, а обладают протяжённостью, подобно «огненным горам». Помню раскидистую черёмуху над железнодорожной насыпью, царство белого цвета, если всматриваться, стоя поодаль. Мы приблизились, чтобы наломать домой букеты, и в этом невестином тереме застали парня с девушкой, оба скинули рабочую одежду, после того как сели выпить, закусить на газетке, их пронзительная нагота стала откровением.

В левом верхнем углу «Поклонения волхвов» Джентиле да Фабриано, если преодолеть насыщенные передние планы, заполненные фигурами и лицами, рассказать о которых не хватит бумаги, можно разглядеть трёх робких от усталости и потерянности магов, взобравшихся на вершину горы, чтобы узреть невидимое великое — Рождественскую звезду. Однажды я провёл два дня подле этой горы, на окраине Иерусалима, близ Вифлеема. Мне нравилось выйти ночью из палатки покурить, глядя на горный абрис, подле вилась древняя дорога, на которой у Марии отошли воды, и она поспешила обратно к жилью. Да Фабриано никогда не был в Святой земле, к его рождению Крестовые походы завершились, но в Европу были завезены рисунки, описания, и неудивительно, что Иудейские горы он изображал с точностью, не говоря уже о выразительной группе людей, приветствующих рождение Христа, где каждая фигура — характер, добавьте сюда ещё сокола, коней, мартышек, льва, собак, какого-то паренька со стёртым безглазым лицом, шарящего руками по земле, не то из преклонения, не то обронил что-то. Так исполнилось давнее моё подспудное желание — оказаться внутри картины (и не только метафорически), с предельной степенью близости — на заднем плане Ренессанса. Благодаря этому осознанию вся реальность для меня с некоторых пор проглядывает будто в щёлочку, складываясь, подобно мозаике, но не калейдоскопу, из осколков полей зрения предельной чёткости, каждый из которых вроде бы обыкновенный камешек, но вместе они изображение. Всё, что я вижу вокруг, я верю (а наш зрительный аппарат большей частью основан именно на доверии к способностям разума), — это содержание заднего плана полотна времени, прописанного с помощью, например, Джентиле да Фабриано до последней чёточки.

Есть ещё один задний план, который интересует чрезвычайно, тот, что за спиной «Странника» Босха, хотя, конечно,

весь Босх — это сплошной сценический задник «Божественной комедии», как кажется, особенно «Ада», который интересней, конечно, «Рая», потому что больше походит на нашу, во всяком случае, на мою жизнь. Задний план «Странника» потому интересен, что главный герой не только метафорически, но и портретно напоминает моего прадеда, Иосифа Розенбаума, о котором я часто думал в Берлине — в период, когда решил начать эти заметки, а именно после смерти бабушки Симы, его дочери.

Жизнь прадеда, точнее, то, что я о ней знаю, кажется скудной на события, зато первая её часть полна скитаний. Он родился в 1887 году на западном берегу Каспийского моря, приобрёл профессию часовщика, женился в 1914-м, а в 1916-м для того, чтобы избежать призыва на поля сражений Первой мировой войны, нелегально пересёк границу с Ираном. Блудный сын, путник, пилигрим, торговец вразнос — эти образы волнуют не даром, поскольку сам земной путь — странствие человека от рождения до смерти, а потому понятие о страннике имеет значение в мифологии жизни. Полуразрушенная таверна, мужчина, справляющий нужду за углом, парочка любовников в дверном проёме, любопытная женщина, выглядывающая из окна с выбитыми стёклами и оторванными ставнями, не странника ли поджидает она. Путник колеблется в нерешительности, полуобернувшись к таверне с почти страдальческим лицом. Странствовать — менять пространство, страны, стороны света, оказываться в странном положении, отстраняться, именно этим занимается путник на дороге, ещё не ведающий, где придётся заночевать, кто пустит его во двор или в хлев, а если зима на дворе, в сени.

В определённом возрасте странствия перестают быть пищей воображения, и я находился на пороге вступления в такой период, когда в ноябре 2015 года прилетел в Берлин, приняв приглашение пожить месяц в старом доме на берегу озера Ванзее. Самолёт приземлился после захода солнца, автобусом я добрался до электрички и сел в вагон вместе с двумя

восточными мужчинами, смешивавшими в своей речи фарси и русский. Я заметил их ещё на платформе, один из них был слепец, с палочкой, движения неуверенные, на переносице непроницаемые очки, они сначала о чём-то толковали оживлённо, замолкли, и после паузы слепой сказал по-русски: «Говори, ты должен всё время со мной говорить, чтобы пробиваться ко мне в темноту, в которой я сижу». Затем эти двое делали пересадку на Потсдам, шли по платформе, и слепой спрашивал: «Мы на Ванзее? На Ванзее?» Эта картина со слепцом в пустом почти вагоне, движущемся сквозь непроглядный лес Грюневальда, кажется мне сейчас источником воспоминаний не только о той первой ночи, проведённой на берегу загадочного озера.

До усадьбы, где проживали участники Литературного коллоквиума, было рукой подать, но в аэропорту я потянул спину, неловко схватив чемодан с транспортёрной ленты, так что кое-как доковылял до ворот, у которых убедился, что роуминг на моём телефоне не работает и, значит, цифровые коды от калитки, от парадного и небольшого сейфа с ключом от моей комнаты совершенно недоступны, включая вайфай, работавший в доме. Я прохаживался у забора, тщетно пытаюсь привлечь чьё-нибудь внимание, поскольку к полуночи ни одной живой души в той местности не обнаружилось. Казалось, я приехал в пустоту, и это чувство сопровождало меня всё остальное время, когда я уже не удивлялся, почему в восемь вечера на улицах не встретить ни одной живой души. Из беспомощности я отправился на станцию, но и там было нигде прикорннуть — платформы пусты, каждый уголок вокзала продувался, так что пришлось вернуться, перекинуть рюкзак через ограду и приблизиться к дому вплотную. Я стучал в окна и дёргал ручки застеклённых дверей — напрасно, никто не отзывался. Делать было нечего, и я спустился на берег озера, чтобы найти кучу собранных, но ещё не сожжённых листьев, в которые я зарылся, вынув предварительно из рюкзака бутылку виски. Я лежал в перине из опавшей листвы

и смотрел на противоположный берег, где среди огоньков фонарей были и те, что освещали парк перед виллой «Марлир».

Я достал заветные часы прадеда, оставшиеся мне после смерти бабушки вместе с альбомом семейных фотографий, и стал проворачивать минутную стрелку, как я делал это в детстве, — прокручу на десять минут, подожду, прокручу ещё. Получив их спустя десятилетия, с часами я решил не расставаться, считая чем-то вроде амулета. Прадед прислал их своей дочери незадолго до смерти. Он был часовщиком, и, очевидно, эти часы были его рук делом, без надписи производителя, ходили ли они когда-то — неизвестно, на задней крышке была выгравирована надпись *Ante Christum natum*. Я полагал, что эти часы, как и в детстве, помогут терпеть, переносить неприятные ситуации. Кроме того, мне просто нравилось брать их в руки, словно я держал в пальцах волшебную линзу детства, те два года, что довелось мне прожить у бабушки Симы, пока родители разводились и разменивали жильё. Бабушка умерла в доме для престарелых, последние двенадцать лет никого не узнавала, не произнесла ни слова и вздрагивала, когда я осторожно прикоснулся губами к её щеке. Всё её имущество помещалось в фибровом чемоданчике, выданном мне патронажной медсестрой. Изнутри он пах хозяйственным мылом и истлевшей бумагой. Это был единственный багаж, с которым Серафима когда-то переехала в «стардом», как она его называла, и содержимое чемодана — старые фотографии, газетные вырезки, ветхий, зачитанный номер «Нового мира» с «Одним днём Ивана Денисовича», несколько писем и пачка патентов прадеда, в которых мне ещё предстояло разобраться, — всё это находилось последние месяцы у меня в рюкзаке, который я, засыпая на берегу Ванзее, положил себе под голову, размышляя о том, что я вижу, глядя в кромешную озёрную тьму.

Есть такие события, которые уничтожают место, не оставляют от него ни клочка, одну географию. Вот и я тогда оказался на краю такой странной воронки, водная преграда перед

которой представала словно бы порогом в преисподнюю. Всё вокруг было в высшей степени ухоженным — respectable дома, озеро, парк, лодочная станция, пристань, неподалёку могила Клейста, — и где-то там, всего в километре, 20 января 1942 года сидели за столом люди, принявшие тогда решение об уничтожении миллионов других людей.

Ночь была тьмой непреклонна, и, если бы не бутылка *Laphroaig*, она бы не только не приобрела смысла, но никогда и не кончилась. Сиясь задремать, я вспомнил, как в прошлый свой приезд в Германию ехал поездом из Мюнхена на юг в компании немецких филологов и переводчиков. Вот мы миновали озеро, где утонул Людвиг Баварский, прославленный много чем и когда-то ходивший в горы созерцать альпийский ландшафт, покуривал опиум в уединённой хижине над пропастью, возлежа среди персидских ковров, в то время как его свита и поклонницы поджидали в отдалении, например в замке Эльмау. Поезд петлял и карабкался, и вскоре появились вокруг горные вершины, заснеженные, скалистые. Я удивился вслух, ведь всего ничего — только час пути от города, а вот и настоящие перевалы, и спросил своих спутниц, мол, вы, наверное, часто ходите в горы, почти каждые выходные? «В нашем кругу это не принято, — ответили мне, — потому что мы антифашисты, а нацисты со своим гиперборейством и культом альпинизма настолько дискредитировали горы, что нам туда путь заказан». Я едва сдержался тогда, но сейчас, на берегу Ванзее, глядя во тьму над виллой «Марлир», пришёл к выводу, что такой жёсткий подход осмыслен. Это при том, что среди моих визави были две девушки, мать одной из которых выучила иврит и прошла гиюр*, в то время как мать другой и слышать ничего не желала о Шоа**.

* Гиюр — обращение нееврея в иудаизм, связанный с этим обряд. (Здесь и далее, кроме особо оговорённых случаев, примечания редактора.)

** Шоа — катастрофа, бедствие еврейского народа, случившееся в результате политики уничтожения евреев нацистами.

Мне снова во время забытья привиделся Босх, его странник, а утром меня разбудила карканьем ворона на ветке над головой. Я едва продрал глаза, когда ко мне подошёл встревоженный сторож. Я не сразу сумел встать, очевидно, ночь, проведённая на земле, отозвалась в мышцах, и боль в спине схватила меня стальными челюстями поперёк туловища, так что какое-то время я сидел на корточках перед сторожем, перед зеркалом озера, не в силах произнести ни слова. Мне было почему-то стыдно, будто я был в корне виноват. Наконец я поднялся, сторож проводил меня и протянул ключ от комнаты. Не успел я завалиться спать, как постучалась девушка, координатор Литературного коллоквиума, которая выдала денег на месяц жизни.

Холодная ночёвка не прошла даром, к вечеру я проснулся под крышей дома, у порога которого провёл ночь, от боли, возникавшей в пояснице при малейшем шевелении. Кое-как сполз с кровати, на четвереньках добрался до стены, а по ней до туалета. Где-то на середине пути обратно у меня выступили слёзы, и я подумал, что это хорошо: в сущности, я забыл, когда последний раз плакал, а ведь всегда есть что оплакать. Вернулся я тем же путем и сумел оторваться от стены и упасть не на пол, а на кровать. Ничего не оставалось делать, как смотреть в потолок и в окно, в котором видны были покачивающиеся верхушки деревьев. В Берлине я был второй раз в жизни, я стал вспоминать, что запомнилось после первой поездки два года назад, и это оказалась пустота, в которой я очутился, когда добрался до Рейхстага и попытался представить, как здесь выглядел город во время войны в то самое мгновение, когда было водружено Красное знамя. Я вспомнил фотографию того же времени одного еврейского поэта в шинели и фуражке, капитана Советской армии, у Бранденбургских ворот держащего в руках голову Гитлера, чёрную, отломленную от статуи. Вокруг поэта раскатанная в прах и слякоть — машинами и танками — пустошь города. Внезапно

я осознал, что боль наполняла меня, как эта самая пустота военной разрухи, теснила изнутри и снаружи, и тут я понял, что на сегодня назначены две встречи, отменить которые теперь было невозможно.

Одна встреча следовала за другой — с Елизаветой, литературоведом, которая хотела расспросить меня о чём-то для своей диссертации, другая — с журналисткой, пригласившей записать на радио интервью. Превозмогая боль, я приполз в пристанционное кафе, криво сел, достал часы и стал ждать. Елизавета явилась первой, поинтересовалась, что со мной, и, кивнув, стала спрашивать, а мне пришлось отвечать, хотя и сквозь зубы от боли. Мне не нравилось то, что со мной сейчас происходило, некое превращение в подопытного кролика. Я стал подкручивать стрелки часов. Вскоре в кафе пришла журналистка, Кристина, она заказала кофе и стала терпеливо его пить понемногу, покуда Елизавета разворачивала свою паутинную пряжу. Кристина быстро сообразила, что к чему, что меня корчит от боли, смастерила самокрутку и предложила выйти покурить. Я извинился, мы вышли, и через несколько затяжек боль отступила. Я вернулся и ответил на остававшиеся вопросы. После чего мы с Кристиной поехали на Берлинское радио. Мне показались забавными там допотопные лифты, похожие на выдвигающиеся спичечные коробки. Я вспомнил, как в такой пустой коробок в моём детстве мальчишки засовывали майского жука вместе со свежим листиком берёзы, и жук потом внутри таинственно царपालся и грохотал, если приложить к уху коробок. В лифте я почувствовал себя таким жуком на пару мгновений, а затем мы шли по нескончаемому коридору, и Кристина вдруг указала на распахнутую дверь: «Вот кабинет Гимmlера». Она привела меня в одну из студий, отделанных деревом, я сел к микрофону и ответил на несколько вопросов, а потом на выходе Кристина мне шепнула: «Из этой студии Гитлер объявил войну СССР». И тогда я вспомнил, как она,

когда мы с ней только познакомились, водила меня по Берлину и рассказывала, что в девяностых город был необъяснимо полон кроликов, скакавших в бурьяне между домами, не отремонтированными ещё с 1945 года, закопчёнными, изрешечёнными пулями; город отапливался углём и осенью тонул в дыму, смешанном с туманом. «И конечно, все вокруг в этих чёрных домах трахались, как эти самые кролики на пустырях. Поскольку в этой последней богемной столице Европы, на этом новейшем огромном «Монмартре» совершенно нечем было заняться, кроме как любовью и искусством», — объяснила тогда Кристина.

И в этот раз мне Берлин показался необычайно похожим на Москву, причём дело было не только в том, что оба города несли на себе отпечаток одной послевоенной эпохи. Вот почему Берлин мне показался неотличимым от Москвы, в которой также хватает социалистической панельной застройки. Это кроме того, что послевоенный период восстановления страны из разрухи, осуществлённый руками немецких военнопленных, наполнил СССР добротными, сложенными из известняка домами. Я провёл два года в таком доме на Апшероне, в доме, где жила бабушка Серафима.

Затем мы вышли из здания радио и пошли на бульвар под железнодорожной эстакадой пить вино. Холодный город наполнился стуком поездных колёс и ледяным белым вином, мы продрогли, и Кристина потянула меня куда-то за собой, скоро мы оказались в будке для моментальных фотографий, где стали греться собственным дыханием, постепенно развеселились, корча рожи, у Кристины это мило получалось. После мы забрали её сына из продлёнки, повезли его к отцу, с которым он не жил вместе с самого рождения, потом вернулись на Гейнештрассе, где в большой квартире на шестом этаже без лифта обитала Кристина. У меня опять заболела спина, не так сильно, как раньше, но всё-таки мне требовалось обезболивающее, и я его получил — викадин

и хорошую порцию волшебной травы, после чего я снова пришёл в себя. Мне ещё в юности казалось, что существование суть степень уменьшения или усиления боли, просто лет до тридцати имелось больше сил такое переносить. Теперь же чуть что боль оформляет меня точно жука в коробке, вопрос ещё, насколько я громко царапаюсь и стучу лапками изнутри, или слышно меня, только если поднести к уху коробок. Понемногу спазмы отступили, и мы смогли заняться любовью. Поздно вечером у малахольного отца ребёнка Кристины возникли срочные дела, он привёз сына, и в полночь я возвращался на Ванзее со стратегическим запасом лекарства во внутреннем кармане, у сердца, так что, когда вышел к берегу озера, я чувствовал себя куда увереннее. Листья в парке вокруг усадьбы уже были убраны, хотя я не представлял себе, куда можно деть всю их массу, разве что сжечь, но ни кучки золы, ничего от костров не обнаружил. Я полежал, постепенно замерзая от сырости, в лодке, вытащенной на стапель, снова глядя на огоньки противоположного берега, и понял в какой-то момент, что именно так начинается моя маленькая новая жизнь.

Глава 2

Тяга Земли

Именно в ту ночь я решил отказаться от предложенной мне берлинской стипендии DAAD и вернуться в Израиль, к своей работе геодезистом, а также сдать в аренду часть своего мозга. В этом был мой тихий протест против действительности: я хотел двинуться из относительно безмятежной бухты, замаячившей впереди по курсу, — в сторону эксперимента.

Следующий день мне запомнился особенно, он был ясный, пешеходы перемещались на солнечные стороны улиц, мы гуляли по городу с Кристиной и её сыном, похожим на милого, большеротого трубочиста из сказки, зашли в Гёрлицер-парк и углубились по его дорожкам в слегка янтарный свет облетевших крон, как вдруг Кристина вспомнила, что нужно пополнить запасы, и потянула меня в сторону, указав на двух парней, топтавшихся у скамейки. Грузный негр в рейтузах смерил меня взглядом, взял мои пятьдесят

евро и навёл их на близорукое солнце, после чего кивнул на тропинку и ринулся по ней, я за ним, скоро мы приблизились к поваленному дереву, здесь был устроен тайник, из которого негр извлёк пакетик и вручил мне. Обезболивающее содержимое пакетика оказалось выше всяческих похвал, но позвонил бывший муж Кристины и сказал, что его подруга в честь дня рождения своей дочери устраивает детский праздник. Мы отвезли ему сына и отправились гулять. Всё вокруг было залито рассеянным светом, день превратился в тихую песню, мне часто казалось, что вокруг говорят на иврите, а когда мы покупали Döner Kebab, мне почудилось, что я понимаю турецкий, и я сказал продавцу что-то по-азербайджански, поскольку в далёком детстве я два года жил у бабушки на Апшероне и изучал в школе этот тюркский язык, так что продавец был удивлён и приветствовал нас бесплатной порцией донера, а нам только этого и надо было, и мы потом ещё два или три раза заходили в кафе есть салат и пирожные. День закончился тем, что мы заехали на Яблонскиштрассе, чтобы заняться любовью, и потом я поехал восвояси на Ванзее, столкнувшись в парадном с сыном Кристины и его отцом, привёзшим ребёнка.

Литературный коллоквиум мало к чему меня обязывал, я просто жил в его усадьбе, сталкивался иногда со сторожем, откопавшим меня в первый день из кучи опавших листьев: он посматривал на меня с уважительной опаской, как мне показалось. Иногда я гулял по Берлину с Кристиной и её сыном, иногда без него, а иногда и сам пробовал изучать город. Свободного времени у меня имелось с избытком, и я, решив не терять его даром, позвонил режиссёру, которому обещал написать вместе с ним сценарий. Недавно были опубликованы мемуары космонавта Джанибекова, когда-то участвовавшего в спасении космической станции «Салют-7», и многие хотели снять по ним блокбастер. Режиссёр вскоре прилетел в Берлин и поселился в квартире

своей знакомой пианистки, которая как раз в это время была на гастролях. Я стал ездить к нему, ложился на пол под рояль, и часов шесть в день мы наговаривали на диктофон сценарий, в котором два космонавта, опытный и новичок, отправляются на обесточенную орбитальную станцию, неумолимо снижающую высоту полёта и совсем близко находящуюся от момента падения на Землю. Первый вариант сценария, написанный нами аналогичным образом в Израиле, понравился продюсерам, и дело спорилось.

После работы я отправлялся к Кристине или на Ванзее, а в случае хорошей погоды немного гулял по городу и однажды на Шарлоттенштрассе наткнулся на часовую мастерскую. Я нащупал в кармане часы прадеда и спустился на несколько ступеней в тесное помещение, показавшееся мне крохотным музеем, настолько оно всё было заставлено и завешано часами всевозможных размеров и видов, кружилась голова при виде такого множества циферблатов, словно скручивавших пространство в одну воронку, где громоздочно тикало особое сгущённое время. Время здесь заполняло всё. В каждом взятом циферблате мне виделись скрученные, как атмосферные циклоны на снимках из космоса, целые эпохи, и та или другая секунда отмеряла многолетие, годы, века, скопления времени собирались над пустошами города, пересекали континент, оседали островами тумана над Гайд-парком, перекочёвывали через Ла-Манш на бульвар Сен-Жермен, в сад Тюильри, ложились, подобно летающим снежинкам, в каждую складку, в каждую зазубринку ландшафта.

Я не сразу разглядел в этой чащобе дисков старика со специальными очками-циклопами на лице. Я протянул ему часы, и он, отвлекшись от работы, с интересом на них воззрился сквозь свои приборы, после чего поднял линзы и посмотрел на меня. «Я хотел бы починить эти часы», — сказал я, и тогда старик снова погрузился в свою особую оптическую среду, снял каким-то неуловимым движением

крышку и, как мне показалось, слишком долго рассматривал механизм. «Я не могу починить этот прибор, — сказал он, — потому что это не часы. Я не знаю, это что угодно, но только не часы». — «А может быть, вы всё-таки попробуете? — сказал я, на мгновение усомнившись в здравомыслии прадеда, которому пришло в голову собрать воображаемый механизм и вот это пустое своё мечтание отослать дочери. — Может быть, вы согласитесь разобраться в этом механизме?» Старик ещё минуту рассматривал внутренности часов прадеда, после чего покачал головой и сказал: «Я не возьмусь». С некоторым смешанным чувством облегчения и заботы я покинул мастерскую.

Когда устанавливается хамсин, когда из Аравийской пустыни приходит горячий ветер, я вспоминаю московское жаркое лето 2010 года. Дым горящих лесов напал со всех сторон на город. Однажды я выехал на Новодевичью набережную и едва различил из-за дыма противоположный берег, на котором здания стали похожи на призраки, едва угадываясь за пеленой смрада. Жизнь в ослепшем городе стала бедствием. По ночам, подсвеченные снизу уличными фонарями, клубы дыма в полнейшей тишине сползали со скатов крыш. От бессонницы, во время которой я лежал под навешенной на окно мокрой простыней, я спасался тем, что смотрел кино, и это было бегством в иное пространство, в другое, извлечённое из календаря время. Часы прадеда лежали рядом, иногда я брал их в руки и бесцельно подводил стрелки. Станные ощущения меня преследовали в те ночи. Жара, приличествовавшая скорее пустыне, и заволакивающий реальность дым вытеснили пространство города, так что побег по ту сторону киноэкрана в большей мере, чем при обычных обстоятельствах, был особого рода спасением. В одну из ночей я пересматривал кадр за кадром сцену преследования героя из Chinatown, которая интересовала меня по простой причине: герой, частный детектив

(Джек Николсон), в кабриолете пытался избежать столкновения с вооружёнными владельцами апельсиновых плантаций. В те ночи я случайно наткнулся на этот фильм и в нём на эту сцену, чтобы припомнить семейные легенды и осознать, что мой прадед, живший в Лос-Анджелесе, тоже владел апельсиновой рощей. В героя, нарушившего границы частных владений («Keep Out. No Trespassing»), стреляют преследователи, он мчится задним ходом между рядами деревьев, на него сыплются золотые яблоки, он разворачивается, пуля пробивает радиатор, вырывается пар, наконец, автомобиль врезается в дерево, и героя избивают. Подобная той московской жара стояла в Лос-Анджелесе, когда после долгих лет поисков я наконец узнал адрес прадеда и приехал из Сан-Франциско, чтобы оказаться на Pleasant Avenue, в районе, бывшем когда-то довольно уважаемым. Высокие температуры никогда не были редкостью для Южной Калифорнии, но в то время пожары окружали город, теснили жителей окраин, однако пламя я видел только в новостях по телевизору, висевшему в номере мотеля, где я остановился, да и дыма не чувствовалось вовсе. Реальность словно бы не дотягивалась до меня, бушуя где-то рядом, но незримо, и это придавало моему пребыванию в городе особенное ощущение вытесненной в чужую жизнь действительности, которая в полной мере настигла меня жарким летом в Москве. Pleasant Avenue тянется всего около километра вдоль 101-го шоссе, идущего не только через всю Калифорнию, но и почти вдоль всего West Coast и построенного ещё во времена Великой депрессии, когда правительство старалось такими гигантскими инфраструктурными проектами, как дорожные работы, создать побольше рабочих мест, пусть и низкооплачиваемых, зато многочисленных. О временах застройки этого района можно судить не только по архитектурным особенностям домов, но и по тому, что разгонные полосы, предназначенные дать возможность автомобилю безопасно

присоединиться к попутному потоку, оказываются слишком короткими для нынешних скоростей и напоминают о временах, когда по дорогам передвигались в основном на «фордах модели Т», чья предельная скорость не превышала сорока миль в час. Сейчас по шоссе мчатся машины, способные перемещаться многократно быстрее, и потому время вхождения в поток и, следовательно, время принятия решения оказывается из-за небольшой длины полосы столь малым, что мне каждый раз, при выезде с тихих улиц, становилось не по себе от гонки с таким ускорением. По дорогам до сих пор катятся призраки стареньких «фордов», вызывающих ощущение, что вместе с ними ты передвигаешься в таких вечных фильмах, как Chinatown. Лос-Анджелес отстраивался в те легендарные времена, когда звуковое кино сменяло немое, когда Голливуд прочно обосновался в зените своей мощи, а ар-деко окончательно воцарился по обе стороны континента, вот отчего тяжеленные двери города сплошь показались мне высотой в две сажени и обитыми листами латуни. Причём смывные бачки в туалетах отелей в центре города до сих пор оснащены цепочками и низвергают воду с уровня выше человеческого роста. Занавес, завеса, экран окутывает этот город мнимостью, кажимостью, плотной тканью, на которой строится цивилизация иллюзии. В 1920-х годах в богатых домах Голливуда, часто еврейских, имелась мода завешивать киноэкран гобеленами, которые потом перед самым показом фильма сворачивали при всеобщем обозрении. Средневековые полотнища, первые киноэкраны, освобождали на стене новой Платоновой пещеры место для искусства подвижных картинок. Вместе с появлением кино и истории модифицировалась поверхность пещеры — теперь действительно оказались призваны не тени проецируемых творцами идей, не силуэты на камне, а ткань, колышущаяся при проекции, которая оказывается так убедительна, что давление света изменяет рельеф экрана и само изображение. Идея,

рождённая пониманием того, что забвение может стать источником, помогала мне по крупицам собирать знание о жизни прадеда, вплетать его в пустоту, проявляя тем самым ткань особого гобелена судьбы. Вскоре на нём появился город, созданный ради производства иллюзий, город, где декорации величественнее самих зданий, город, не раз воссоздававший Мемфис, Рим, великие эпохи цивилизации. Нереальность, торговля искусной великолепной фикцией приносила доход, сравнимый с прибылями промышленных мощностей. Такой город не может не стать воронкой между действительностью и несуществованием, ангелы обязаны населять его вместе с духами надежд и разочарований. Метафизический экран, образующий сюжет провидения гобелен — символ города, всё в нём зыблется и колыхнется, и, если подняться на холмы Западного Голливуда, вы увидите, как огни города, раскинувшегося внизу, дрожат и струятся в восходящих потоках тёплого воздуха. Лос-Анджелес так же, как Иерусалим, выстроен из плоти воображения.

Sunset Boulevard — ещё один фильм, который я смотрел во время московской жары 2010 года. Лента начинается с кадра, в котором тело застреленного молодого сценариста Гиллиса распластано в бассейне особняка на бульваре Сансет. Джо Гиллис безуспешно пытается устроиться в Голливуде, когда однажды случайно попадает в заброшенный с виду особняк, принадлежащий «звезде» немого кино Норме Десмонд, стареющей актрисе, которая отказывается признавать, что она давно забыта публикой и не нужна современному кино: она живёт в выдуманном мире, где по-прежнему остаётся кумиром миллионов. Особняк этот — печальный слоноподобный белый дом, похожий на декорации, в которых снимают гимн «большим надеждам». Дом этот, чьи интерьеры полны гобеленов, был построен в безумные 1920-е годы безумными киношниками, сведёнными с ума заработками и успехом у десятков миллионов зрителей. Этот особняк — эмблема Лос-Анджелеса, погружённого в ар-деко

с его сумрачными тускло-медными лепестками, арками и изгибающимися спиралью лестницами.

Дом прадеда, сменивший несколько владельцев с момента его гибели в 1952 году, был построен во времена Гриффита* и стоял в задичалом саду, наполненном зарослями бугенвиллеи, вившейся между пальмой и драценой, виднелась сажка над окном, забитым фанерой. В этом доме, выставленном на продажу, в этом одном из жилищ диббуков**, рождающих и обрушающих надежды, которыми полнится город, тоже таилась загадочность, частица общей заколдованности, и что-то подсказывало, что и сам прадед вплёл свою нить в экран, укрывший зыбко и в то же время непрерывно объём города, в чьих окрестностях можно было снимать всё — и море, и джунгли, и каньоны, любая натурная съёмка могла состояться, для неё не требовались, как в фотостудиях, тканые задники, изображавшие различные уголки мира.

Мне ещё потому интересны задние планы картин, что они имеют дело с принципом ландшафта, с искусством складок заднего плана, ведь настоящая трагедия — это гибель хора, а хор всегда избегает авансцены.

Я работаю в Израиле геодезистом, моя специальность — ландшафт. Если завязать мне глаза и привезти в любую точку страны, я через некоторое время, достаточное для совершения нескольких шагов на ощупь, смогу сказать с точностью до минутных координат, где я теперь нахожусь.

* Гриффит Дженкинс Гриффит (4 января 1850 — 6 июля 1919) — американский промышленник и филантроп, в 1880-х пожертвовал 12,20 кв. км городу Лос-Анджелесу, завещал деньги на строительство парка (теперь — Гриффит-парк), Греческого театра и обсерватории. В 1903 году стрелял в свою жену, которая выжила, но осталась калеккой. Провёл в тюрьме два года.

** Диббук (дибук) — злой дух в еврейской мифологии, душа умершего злого человека.

Моё хобби — поиски нефов: время от времени в тех или иных местах побережья я веду топосъёмку и по ней определяю, есть ли в этом месте засыпанные грунтом корабли крестоносцев.

$$\begin{aligned}\text{НЕФТ} &= \text{NEFT} = \\ &= \text{NEF (NAVIS, NAVE)} + \text{T (CROSS) (TRANCEPT)}\end{aligned}$$

Эта формула — важное, хоть и небольшое открытие. Я часто думал о прадеде, пытался разгадать его судьбу; первая моя повесть называлась «Нефть». В какой-то момент мне стала ясна разгадка послания судьбы прадеда, ехавшего в США к работодателю — ювелиру *Max Neft*, чьё имя было им указано в формуляре пограничного контроля. Разгадка состояла в том, что я стал писать роман о Храме = *Nef + Trancept*. Это — и Храм, и Корабль, именно тот корабль, что приносил паломников и крестоносцев в Святую землю. Ботанический термин *Neft von Oberkeim* означает: «коробочка верхних семян». Корабли были полны семян Христовых — крестоносцев и паломников. Я сам когда-то оказался таким семенем. Вопрос передо мной теперь стоял такой: вернуться или прорасти. Крестоносцы уходили из Святой земли и не могли не оставить наследия, устремлённого в будущее. Символ этого ухода, проигрыша — холм у Брода Иакова: засыпанный воинами Саладина крепость-корабль, замок Шантеле.

Много лет тому назад, под Рождество, я сидел в Реховоте на пороге студенческого барака, так похожего на уютное судёнышко, на *Neft von Oberkeim*, и смотрел на туман, смешанный в сумерках с дождём. Это была зима после «Бури в пустыне», что-то случилось с климатом в результате войны, снег тогда шёл даже на Средиземном побережье. В тот вечер я был один во всем бараке, потому что мои товарищи уехали в Иерусалим — за нетающим снегом и празднеством. Я сидел на пороге, за которым открывалась лужайка,

вглядывался в дождевую муть и думал о том, что пчела есть воплощённая идея метафоры, сравнивающая актом творения две строчки — два цветка. Я не знаю, почему мне это пришло в голову именно тогда, зимой, когда пчёлы спят, видимо потому, что сознание вообще мало зависит от обстоятельств. А может, и потому, что следом было неизбежно подумать о Христе как о *великой пчеле*, сопрягшей две сущности и два существа, если только ко Всевышнему можно отнести эти атрибуты. Друзья мои вернулись за полночь, а огромная пчела, рассекая витражными, слюдяными крыльшками перелетевшего через себя ангела, всё ещё пронзала тьму жемчужными клиньями, за которые я принял конусы света трёх фонарей, пробивавшихся сквозь туман. С тех пор прошло столько жизней, не две и не три, я переселился в точности на границу между Иерусалимом и Эйн-Керемом, в место над долиной, которую можно видеть за плечами мадонн многих картин Ренессанса. Я живу большую часть года на балконе, и небо, облака, самолёты — главные предметы моих наблюдений. Есть чему поучиться у облаков — у этих нефов, протоформ, просфор воздушных причастий. Облачные нефы несутся, ползут, скатываются на край и дальше в направлении пустыни. Жизнь на высотах учит, что атмосфера важнее её подложки, во всяком случае, точно больше, во всяком случае, прочнее приучает к бескрайности. Как можно от этого отвернуться?

Глава 3

Белая лошадь

Даже когда самый близкий человек сходит с ума, всё равно это происходит внезапно. В ту ночь бабушка Сима, 1914 года рождения, вошла в комнату в тот самый момент, когда у меня была расстёгнута ширинка, а девушка по имени Энни Левин пыталась высвободить из моих *RIFLE* существенную часть моего *alter ego*.

Но прежде скользнула белая тень, и кто-то подступил к окну из глубины заднего дворика, уже наполненного мглой. Туман к вечеру переливался в город с Золотых Ворот, соединявших прогретый залив и ледяной океан. До жилых кварталов побережья доносилось гудение буя-ревуна, отмечавшего фарватер, ему вторили корабли, переключаясь друг с другом, — стонали, будто раненые звери. Сколько вечеров я провёл напротив этого ревуна, поднявшись на небольшой утёс. Днём эта скала была облюбована сивучами, а вечером там обычно стоял я — с бутылкой «Гиннеса»

в руке, закусив фильтр «Кента». Я приходил туда тосковать об оставленной на родине жизни, восточный край которой омывался теми же волнами, что ходили холмами и рвами у меня в ногах. Я стоял и неотрывно смотрел то на абрис противоположного берега, то на самый красивый в мире мост, полторы мили которого были обозначены желтоватым перламутром гирлянд противотуманных фонарей. На линию моста как раз и приходилась точка росы: именно тут замешивалось тесто облаков, которые, прежде чем оторваться от поверхности Земли, заливали город и побережье. Я стоял, глядя в бельма великого слепца — своей судьбы, покуда державшей меня в колбе, наподобие гомункула. Слепец никак не хотел выпустить меня на свободу становления или хотя бы шваркнуть колбу о скалы, черневшие внизу антрацитовым мокрым блеском.

Энни Левин — дочь советского шахматиста, попавшая в США ещё младенцем, — была моим отдохновением от таких невесёлых вечеров перед океанской стихией. По крайней мере в её присутствии я ничего не боялся, не испугался я и промелькнувшей тени, а постарался сосредоточиться на том отдельном от реальности мире, что создавался сейчас на поверхности моего тела.

Дядя Марк поселил меня в цокольном этаже с бабушками Симой и Ариной: Серафимой Иосифовной — мамой Марка и моего отца, и Ариной Герасимовной, матерью моей мамы. Сам он с семьёй занимал средние два яруса нашего дома на 25-й авеню, которым владел надутый тайванец, живший на последнем этаже. Он ходил, выпятив живот, и за все семь лет не кивнул ни разу в ответ на мои приветствия.

Я боялся потревожить Марка и его жену Ирку (им хватало двух детей и ещё одной старухи — третьей в нашей богадельне была Гита Исааковна, бабушка Ирки), поэтому пользовался окном как дверью. Пробираясь к себе через задний двор сразу из парадного, я обычно пугал до смерти

бабу Гиту, слегка тронувшуюся умом на заре перестройки, когда один за другим умерли от лейкоза родители Ирки.

Гита боялась всего на свете: бедности, прямых солнечных лучей, сквозняков, гриппа, нашего лендлорда, советскую власть, но особенно воров, за которых принимала и меня. Она неустанно беспокоилась, пугалась, кто там шастает в заднем дворе, и, когда в очередной раз настигала мою милость на лестнице, орала: «Фу! Оборванец! Напугал! Через окно только покойники ходят! Когда уже явятся твои родители?! Что за воспитание?! Это преступление, а не воспитание!»

Баба Гита была сгорбленной, с развороченными артритом ногами востроносой старушкой. Она ковыляла по дому и непрерывно громко стонала, чтобы все знали, как она страдает, но мучилась она болями непритворно. В любой момент не было сомнений, в какой именно части дома она находится. Даже ночью, в темноте и тумане, Гита стояла на террасе, опершись на перила, и тоже стонала, но в четверть голоса.

Иркина бабка находила общий язык с моей Аришей — обе они были глуховаты и не раздражали друг друга переспрашиванием, часто просто кивали, так и не расслышав друг друга. Гита была единственной выжившей из большой семьи, обитавшей до войны в местечке под Киевом: родители и пять её младших сестёр сгинули в Бабьем Яру. Она выжила, потому что оказалась в июне 1941 года в ялтинском санатории, откуда отец велел ей телеграммой не возвращаться, а ехать сразу к его троюродной сестре в Баку. Соседки у них во дворе на улице Монтина шептались, что после войны Гита ездила на пепелище, чтобы выкопать в саду тайник с семейными драгоценностями. Судачили, что понемногу она продавала — то брошку, то браслетик — и на это ей удалось вырастить и выдать замуж дочь. Главную, по её словам, часть удалось перевезти за океан.

«Но никто не знает, — добавлял Марк, — что это за камни, может аметисты, с неё станется. В жизни своей не возьму в руки бриллиант, который моя внучатая тёща пронесла через океан в прямой кишке».

Я уговаривал себя, что меня лично всё это не касается, и молча отворачивался от устрашающе жалкой мегеры, чтобы сдвинуть в сторону половинку стекла и шагнуть через подоконник. Я любил это окно. Оно стало для меня порогом новой, хоть часто и безрадостной, но загадочной жизни. Тайна важна в жизни, к счастью, я рано это понял: когда она, тайна, есть под рукой — жить интересно. Ибо что такое смысл, как не тайна в ауре понимания?

Сима вошла, прижимая к груди сжатые кулачки. Невидящий взгляд её перемещался по комнате. Мы интересовали её меньше всего, но Энни поняла, что позади в комнате происходит что-то невероятное, вскочила, испугалась и бухнулась мне на колени.

— Is she a sleep-walker? — прошептала она, красавица с пышно выющимися пшеничными волосами, моя учительница английского из Jewish Family and Children Services, считавшая, что лучший способ обучения иностранному языку — болтовня в постели.

Сима скользнула по нам взглядом и заговорила, сильнее прижимая кулачки к груди, будто что-то жгло её сердце:

— Миша, я давно хотела тебе рассказать. Когда отправилась в Москву, я в Баку приехала электричкой и наняла на перроне носильщика. Он повёл меня к стоянке такси. Он почти бежал, и я за ним едва поспевала. Как вдруг на ступеньках вокзала меня остановил высокий красивый старик, в макинтоше, с зонтом на руке. Он сказал: «Вы не знаете меня. Я дружил с вашим отцом. Когда вы были девочкой, он просил в письмах присматривать за вами. Вы выросли, и после войны я нашёл вас. Я следил за вами издали. Я несколько раз поджидал вас у больницы в Насосном, когда вы заканчивали дежурство. Мне надо было написать вашему отцу, что вы